

УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/19986645/74/14

С.А. Кибальник

ЧЕХОВСКИЙ «ОСТРОВ САХАЛИН» В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ XIX В.

Книга Чехова «Остров Сахалин» рассматривается в контексте известных произведений русской классической прозы XIX в., относящихся к особому наджанровому единству: «книга о народе». Прослеживаются отсылки в этой книге к «Запискам охотника» Тургенева, «Запискам из Мертвого дома» Достоевского и одновременно ее внутренняя соотношенность, а то и полемичность по отношению к ним. В свою очередь, роман Толстого «Воскресение» анализируется как внутренне противопоставленное «Острову Сахалину» произведение.

Ключевые слова: «Остров Сахалин», Чехов, Достоевский, Толстой, «книга о народе», «путевые заметки», ссылка, соотношенность, полемичность

В русской литературе XIX в. есть особое наджанровое образование: «книга о народе». В него входят как художественные произведения, так и документальная проза. Произведения этого рода принадлежат перу самых разных русских писателей: С.Т. Аксакова и Д.В. Григоровича, И.А. Гончарова и Н.С. Лескова, Г.Н. Успенского и В.Г. Мельникова-Печерского и многих других.

Особо выделяются среди них произведения таких русских классиков, как И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов и Л.Н. Толстой. Взятые вместе, тургеневские «Записки охотника» (1852), «Записки из Мертвого дома» (1863) Достоевского, чеховский «Остров Сахалин» (1893) и роман Толстого «Воскресение» (1899) выстраиваются в единый ряд и образуют своего рода «четвероевангелие русского народа». Это выражение может быть к ним применено по особой значительности и фундаментальности этих четырех книг, которые вдобавок тесно связаны между собой.

«Остров Сахалин» и «Записки из Мертвого дома»

«Остров Сахалин» Чехова в этом отношении хронологически примыкает не к роману Толстого, а к запискам Достоевского о его пребывании на каторге в Сибири. Чехов в этом смысле как бы опередил Толстого, который более всего у Достоевского ценил именно «Записки из Мертвого дома»¹ и в своем последнем крупном романе решился наконец попробовать написать отчасти нечто подобное. При этом Толстой создал роман, сибирские главы которого не основаны на каких-либо его личных впечатлениях.

¹ Эту книгу Толстой относил к немногим «в новом искусстве» «образцам высшего, вытекающего из любви к Богу и ближнему, религиозного искусства» [1. Т. 30. С. 160].

Чехов же писал документальный травелог и для этого предпринял большое и опасное для здоровья путешествие, которое дорого ему стоило.

И тем не менее он отправляется в него, прерывая успешно развивавшуюся писательскую карьеру. Почему? Как известно, потому что ощущает некоторую исчерпанность первоначального периода своей литературной деятельности, большая часть которого прошла под знаком еще не Чехова, а Чехонте. Потому что чувствует нехватку знакомства с Россией, с русским народом (отмечено: [2. Т. 14–15. С. 742–745]). Наконец, и этому исследователи, кажется, до сих пор не придавали должного значения, потому что ощущает дефицит жизненных событий в своей писательской биографии. Последнее – по сравнению с Толстым и особенно с Достоевским, на которого в действительности, как я пытался когда-то показать на примере «Драмы на охоте» и «Иванова» [3. С. 45–70], в первую очередь ориентировано его раннее творчество.

Что же касается «Записок из Мертвого дома», то они, как мне уже довелось показать в другой моей работе [4. С. 183–196], непосредственно как бы вытекают из «Записок охотника». Это своего рода «Записки острожника», написанные Достоевским о том же русском народе, о котором писал Тургенев, но который из Орловской и Курской губерний волею случая оказался как бы перенесен в лице своих отдельных представителей в Омский острог. Главная тема книги Достоевского связана, как и у Тургенева, с отношениями между дворянством и народом. Однако в этом отношении его книга остро полемична по отношению к «Запискам охотника».

Тургенев впервые в русской литературе показал, что простые крестьяне не глупее и не слабее характером, чем дворяне, так что тяга к ним со стороны последних вполне естественна. Достоевский взрывает этот благостно-покровительственный дискурс. Он показывает, что, как бы ни ценил и ни уважал русский дворянин мужика, он никогда не станет ему «товарищем», даже если захочет: мужик никогда и ни за что не признает его «своим». Тем самым Достоевский в своем художественном произведении, по существу, сам опровергает достижимость целей, которые он не раз формулировал в почвеннической публицистике начала 1860-х гг.

Отправляясь в Сибирь и затем на Сахалин, Чехов сознательно берется продолжить разговор, начатый Достоевским в «Записках из Мертвого дома»¹. Это было очевидно уже первым критикам книги (см., например: [5. С. 37–42]) и непосредственным продолжателям Чехова в разработке данной темы – Власу Дорошевичу [6] и Варламу Шаламову [7. С. 75]. Несмотря на это, из произведений Достоевского исследователи гораздо чаще

¹ Еще в очерке «Из Сибири» Чехов восклицал: «Взгляните-ка вы на нашу литературу по части тюрьмы и ссылки: что за нищенство! Две-три статейки, два-три имени, а там хоть шаром покати, точно в России нет ни тюрьмы, ни ссылки, ни каторги» [2. Т. 14–15. С. 26]. Некоторые из этих немногочисленных сочинений сам Чехов называет в ходе его повествования (см.: [2. Т. 14–15. С. 769]). Однако «Записки из Мертвого дома» ему называть не было необходимости – это пример хрестоматийный.

сближают «Остров Сахалин» с «Дневником писателя» (см., например: [8. С. 64–83; 9. С. 154]).

«Запискам из Мертвого дома» «Остров Сахалин» нередко противопоставляется как «документальная проза» по отношению к «произведению, реальная основа которого очевидна, выстраивается и воспринимается по законам художественного образа» [9. С. 150–152]¹. Между тем в «Записках...» Достоевского, документальный характер которых нередко недооценивается, имеет место, в сущности, то же самое, что у Чехова, – быть может, с той только разницей, что изображенные в них лица в большей степени связаны не только с их реальными, но и литературными прототипами (см. об этом, в частности: [11. С. 73–96]).

В «Острове Сахалине» сказалось то же ощущение некоторой исчерпанности художественного познания, которое владело в это время Толстым, а иногда и – уже в 1870-е гг. – Достоевским, преклонявшимся в «Дневнике писателя» перед «глубиной» «факта действительной жизни» [12. Т. 23. С. 144]. Осознанная Чеховым еще в 1888 г. установка на то, чтобы быть «беспристрастным свидетелем» своих героев [2. Т. 14. С. 118], закономерно привела его к тому, чтобы изображать человека таким, каким он попался ему на его жизненном пути, т.е. пойти в изображении каторги по пути, проложенному Достоевским².

Как и «Записки...», «Остров Сахалин» – это также, выражаясь по современному, non-fiction. Только не «записки», а «заметки», что почти одно и то же, – правда, «путевые». У Чехова мы находим сходную документально-этнографическую и социологическую тональность. И наконец, чеховский травелог строится – и это до настоящего времени не было отмечено – преимущественно по сходному сценарию.

У Достоевского подробно описаны «первые впечатления» и первый месяц его пребывания в Омском остроге (именно так озаглавлены первые шесть из одиннадцати глав первой части). Затем фокус изображения сдвигается на отдельных, наиболее запомнившихся ему людей и на отдельные аспекты жизни в остроге и яркие события в ней («баня», «праздник Рождества Христова», «представление» в тюремном театре, «госпиталь», «летняя пора», «каторжные животные», «претензия», «товарищи», «побег»).

В первых двух главах «путевых заметок» Чехова изображается его прибытие на остров, затем, с третьей по четырнадцатую главу, следует «обзор населенных мест Сахалина» с описанием условий проживания в них людей, наконец, начиная с XV главы, автор переходит «к частностям важным и неважным, из которых в настоящее время слагается жизнь колонии» [2.

¹ Сходная точка зрения представлена в статье Г.П. Бердникова [10. С. 119].

² По мнению Е.К. Созиной, в то же время чеховское «фактографическое натуралистическое бытописательское письмо, имитирующее отсутствие посреднической сферы между реальностью и читателем, точнее, признающее только одну степень этой медиации – личное восприятие ее рассказчиком и личный рассказ о ней вне литературных канонов», непосредственно восходит к прозе шестидесятников Н.Г. Помяловского и Ф.М. Решетникова [8. С. 79].

Т. 14–15. С. 227]¹. Это «хозяева-каторжные» и «хозяева-поселенцы» (XVI), «Состав населения по возрастам...» (XVII), «Занятия ссыльных...» (XVIII), «Пища ссыльных...» (XIX), «Свободное население...» (XX), «Нравственность ссыльного населения...» (XXI), «Беглые на Сахалине...» (XXII), «Болезненность и смертность ссыльного населения...» (XXIII). Хотя «Записки...» Достоевского разделены на две книги, а в «путевых заметках...» Чехова этого нет, но общее число глав в обеих книгах почти одинаково: 21 у Достоевского и 23 у Чехова.

Разумеется, у Достоевского это «Записки...» об Омском остроге, а у Чехова «путевые заметки» о проживании каторжан и ссыльных на огромной территории, причем как в тюрьмах, так и на поселении. Разумеется, Чехову не было нужды предварять свою книгу «Введением», в котором он изображает мнимого автора, подобного женоубийце «Записок...» Александру Петровичу Горянчикову. Разумеется, Достоевский и его alter ego Горянчиков сами были каторжниками, а Чехов всего лишь наблюдатель со стороны. Однако в остальном Чехов, конечно же, внутренне во многом ориентируется на «Записки...» Достоевского. И даже однажды прямо сопоставляет свои впечатления с картиной, представленной его знаменитым предшественником.

Так, ближе к концу, в разделе XX «Свободное население. – Нижние чины местных воинских команд. – Интеллигенция» Чехов так соотносит условия заключения на Сахалине с описанным Достоевским Омским острогом: «В новой истории Сахалина играют заметную роль представители позднейшей формации, смесь Держиморды и Яго, – господа, которые в обращении с низшими не признают ничего, кроме кулаков, розог и извозчичьей брани...». Тем самым он, казалось бы, вписывает свои портреты сахалинских надзирателей в ряд, начатый изображением Достоевским «*плац-майора*».

Однако тут же Чехов неожиданно заключает: «Но как бы то ни было, “Мертвого дома” уже нет². На Сахалине среди интеллигенции, управляющей и работающей в канцеляриях, мне приходилось встречать разумных, добрых и благородных людей, присутствие которых служит достаточной гарантией, что возвращение прошлого уже невозможно». Правда, связывает Чехов это не только с появлением новых людей, но и с усилением гласности: «Теперь уже не катают каторжных в бочках и нельзя засечь человека или довести его до самоубийства без того, чтобы это не возмутило здешнего общества и об этом не заговорили бы по Амуру и по всей Сибири» [2. Т. 14–15. С. 321].

Эту главу Чехов заканчивает похвалой интеллигенции, которая в этом контексте звучит как антипочвенническая декларация, направленная в том числе и против «Записок из Мертвого дома»: «Где многочисленная интеллигенция, там неизбежно существует общественное мнение, которое создает нравственный контроль и предъявляет всякому этические требования, уклониться от которых уже нельзя безнаказанно никому, даже *майору* Николае-

¹ Эти две части «Острова Сахалина» иногда разграничиваются как «очерки путевые» и «очерки проблемные» (см.: [2. Т. 14–15. С. 783]).

² Здесь и далее курсив мой. – С.К.

ву. Несомненно также, что с развитием общественной жизни, здешняя служба мало-помалу теряет свои непривлекательные особенности и процент сумасшедших, пьяниц и самоубийц понижается» [2. Т. 14–15. С. 322].

Есть в «Острове Сахалине» и другие, прямые и скрытые, отсылки к Достоевскому. Правда, поскольку тон чеховской книги гораздо более критичный, то в ход в первую очередь идут сатирические произведения Достоевского. Так, говоря о «частном обществе “Сахалин”», «в исключительном пользовании» которого оказались «дуйские копи», Чехов пишет: «Общество засело на Сахалине так же крепко, как *Фома* в селе *Степанчикове*, и неумолимо оно, как *Фома*» [2. Т. 14–15. С. 137].

Есть в очерке Чехова «Из Сибири» и страницы, отмеченные идеализацией Сибири и простого народа, которые содержат неявные переключки с сибирскими страницами «Былого и дум» А.И. Герцена: «Пока я пью чай и слушаю про Сашу, мои вещи лежат на дворе, в возке. На вопрос, не украдут ли их, мне отвечают с улыбкой: – Кому ж тут красть? У нас и ночью не крадут. И в самом деле, по всему тракту не слышно, что у проезжего что-нибудь украли. *Нравы здесь в этом отношении чудесные, традиции добрые*. Я глубоко убежден, что если бы я обронил в возке деньги, то нашедший их вольный ямщик возвратил бы мне их, не заглянув даже в бумажник. <...> О грабежах на дороге здесь не принято даже говорить. Не слышно про них. А встречные бродяги, которыми меня так пугали, когда я ехал сюда, здесь так же страшны для проезжего, как зайцы и утки» [2. Т. 14–15. С. 16–17].

Это напоминает пермские страницы второй части «Былого и дум» (1854): «*Простой народ еще менее враждебен к сосланным, он вообще со стороны наказанных*. Около сибирской границы слово “ссылный” исчезает и заменяется словом “несчастный”. В глазах русского народа судебный приговор не пятнает человека. В Пермской губернии, по дороге в Тобольск, крестьяне выставляют часто квас, молоко и хлеб в маленьком окошке на случай, если “несчастный” будет тайком пробираться из Сибири» [13. Т. 8. С. 248]. Опубликованные еще в 1854 году, они были и в поле зрения Достоевского при создании его «Записок...».

Сахалин в изображении Чехова, как и Омский острог в изображении Достоевского¹, несет на себе черты Дантова «Ада» (см., об этом, например: [15. С. 62–73]). Сравнение с «адам» промелькнуло в самом начале его «путевых записок» в картине пожара сахалинской тайги: «Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась фантастическою. На левом плане горят чудовищные костры, выше них – горы, из-за гор поднимается высоко к небу багровое зарево от дальних пожаров; похоже, как будто горит весь Сахалин. <...> все в дыму,

¹ Не случайно еще А.И. Герцен небезосновательно утверждал, что «Записки...» Достоевского всегда будут «красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как надпись Данте над входом в ад: это “Мертвый дом” Достоевского, страшное повествование, автор которого, вероятно, и сам не подозревал, что, рисуя своей закованной рукой образы сотоварищей-каторжников, он создал из описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в духе Буонарроти» [13. Т. 18. С. 219].

как в аду» [2. Т. 14–15. С. 54]. И этот образ еще не раз возникает в дальнейшем изложении (см.: [2. Т. 14–15. С. 784]¹).

Зато далекая Россия в сознании многих героев «Острова Сахалина» по контрасту обретает черты потерянного рая. При этом, возможно, не без влияния фигуры Л.Н. Толстого и тургеневских «Записок охотника» среди особо «райских» губерний названы Тульская и Курская: «О Сахалине, о здешней земле, людях, деревьях, о климате говорят с презрительным смехом, отвращением и досадой, а в России все прекрасно и упоительно; самая смелая мысль не может допустить, чтобы в России могли быть несчастные люди, так как жить где-нибудь в Тульской или Курской губернии, видеть каждый день избы, дышать русским воздухом само по себе есть уже высшее счастье» (см.: [2. Т. 14–15. С. 343–344]).

«Мокрый снег», который, как Чехов отмечает в очерке «Из Сибири», идет тут «на Троицу», а также *заполненная «на четверть» водой «свежевырытая могила»*, в которую кладут «женщину свободного состояния», после которой «осталось двое детей» [2. Т. 14–15. С. 804–805], у читателя того времени вызвал ассоциации с «Записками из подполья», вторая часть которых озаглавлена «По поводу мокрого снега». «Подпольный парадоксалист» пугал в ней Лизу образом молодой покойницы, положенной в мокрую могилу на Волковом кладбище (ср.: [17. Т. 5. С. 138, 171–172]).

А на заключительных страницах чеховских «путевых заметок», на которых речь заходит о «наказаниях» и «смертной казни», неожиданно мелькает даже силуэт участника самого Достоевского: «Самому молодому из убийц, Пазухину, уже после того, как на него был надет саван и прочли ему отходную, было объявлено, что он помилован; *казнь ему была заменена другим наказанием. Но сколько должен был пережить в короткое время этот человек!* Всю ночь разговор со священниками, торжественность исповеди, под утро полстакана водки, команда “выводи”, саван, отходная, потом радость по случаю помилования и тотчас же после казни товарищей сто плетей, после пятого удара обморок и в конце концов прикование к тачке» [2. Т. 14–15. С. 340].

Здесь не может не возникать ассоциаций с судьбой самого Достоевского, которому вместе с некоторыми другими «петрашевцами» смертная казнь была заменена каторгой уже на эшафоте, что, как известно, не раз отзывалось на страницах многих его произведений.

«Остров Сахалин» и последующие произведения Чехова

В лицах, населяющих «Мертвый дом» Достоевского, местами ощущаются черты героев его будущих произведений². Силуэты персонажей еще

¹ Это отражение у Чехова мифологемы Сибири как ада (см.: [14. С. 278–289]).

² «В Алее, например, предчувствуются черты Мышкина и Алеши Карамазова», «Филька Морозов предвосхищает такие типы Достоевского, как Рогожин в Идиоте и Дмитрий Карамазов» [15. С. 8], в земном поклоне Акульки предвосхищены отдельные черты поведения Катерины Ивановны в «Братьях Карамазовых» (см.: [16. С. 95–101]), в А-ве – черты Свидригайлова [10. С. 125].

ненаписанных произведений Чехова мелькают кое-где и на страницах его «путевых заметок». Так, в самом начале очерка «Из Сибири» находим рассказ о «мещанке с ребеночком» из Омска, оставившей его «в избе вольного ямщика». Ямщик с женой привязываются к ребенку, и об этой привязанности повествуется как о последней любви Ольги Семеновны – к сыну ветеринарного врача Смирнина Саше, которого мать оставляет в ее доме: «Привыкли мы к Саше, – говорит хозяйка, давая ребенку соску. – Закричит днем или ночью, и на сердце иначе станет, словно и изба у нас другая. А вот, не ровен час, вернется та и возьмет от нас...» [2. Т. 14–15. С. 16]. Из этого зерна как бы прорастают заключительные страницы рассказа Чехова «Душечка» (1999).

А вот «жирный человек» Петр Петрович, встреченный Чеховым в Колывани, добивающийся «правды»: «Человек не лошадь. Примерно, у нас по всей Сибири нет правды. Ежели и была какая, то уже давно замерзла. Вот и должен человек эту правду искать. Я мужик богатый, сильный, у заседателя руку имею и могу вот этого самого хозяина завтра же обидеть: он у меня в тюрьме сгниет, и дети его по миру пойдут. И нет на меня никакой управы, а ему защиты, потому без правды живем... Значит, в метрике только записано, что мы люди, Петры да Андреи, а на деле выходим – волки. <...> А лодки все еще нет!» [2. Т. 14–15. С. 22–23]. Из этого Петра Петровича потом выйдут, наверное, и пламенный обличитель «лжи» Редька из «Моей жизни», и парадоксальным образом герой рассказа «Печенег» Жмухин.

Из паромщика Красивого, убежденного в том, что «повиноваться надо», который «на Сахалине за все 22 года» «ни разу не был сечен и ни разу не сидел в карцере»: «Потому что посылают лес пилить – иду, дают вот эту палку в руки – беру, велят печи в канцелярии топить – топлю» [2. Т. 14–15. С. 81], – произрастает герой рассказа Чехова 1891 г. «Гусев», для которого «жить правильно» значило «слушаться» [2. Т. 7. С. 303].

Эпизодическая дама-хохотушка с парохода «Байкал»: «Наша спутница, жена моряка-офицера, бежала из Владивостока, испугавшись холеры, и теперь, немного успокоившись, возвращалась назад. У нее был завидный характер. Достаточно было самого пустого повода, чтобы она закатилась самым искренним, жизнерадостным смехом до упада, до слез; начнет рассказывать что-нибудь, картавя, и вдруг хохот, веселость бьет фонтаном, а глядя на даму, начинаю смеяться и я, за мною о. Ираклий, потом японец. “Ну!” – говорит в конце концов командир, махнув рукой, и тоже заражается смехом. Вероятно, никогда в другое время в Татарском проливе, обыкновенно сердитом, не хохотали так много» [2. Т. 14–15. С. 181] – предвещает героиню «Человека с футляром» Вареньку, на которой едва не женился Беликов.

В главе IX в описании селения Дербинского звучит мотив, напоминающий знаменитый рефрен «Трех сестер»: «В Москву, в Москву!». Ср.: «Один бывший московский купец, торговавший когда-то на Тверской-Ямской, сказал мне со вздохом: “А теперь в Москве скачки!” – и, обращаясь к поселенцам, стал им рассказывать, что такое скачки и какое множество людей по

воскресеньям движется к заставе по Тверской-Ямской. “Верите ли, ваше высококордие, – сказал он мне, взволнованный своим рассказом, – я бы все отдал, жизнь бы свою отдал, чтобы только взглянуть на Россию, не на Москву, а хоть бы на одну только Тверскую” [2. Т. 14–15. С. 152].

Особенно остро звучит в очерке «Из Сибири» общий лейтмотив многих чеховских произведений – лейтмотив «скуки»: «Живется им скучно. Сибирская природа в сравнении с русскою кажется им однообразной, бедной, беззвучной; на Вознесенье стоит мороз, а на Троицу идет мокрый снег. Квартиры в городах скверные, улицы грязные, в лавках все дорого, не свежо и скудно, и многого, к чему привык европеец, не найдешь ни за какие деньги. <...> Женщина здесь так же скучна, как сибирская природа; она не колоритна, холодна, не умеет одеваться, не поет, не смеется, не миловидна и, как выразился один старожил в разговоре со мной: “жестка на ощупь”» [2. Т. 14–15. С. 27].

Внутренняя соотнесенность чеховского травелога с «Записками...» Достоевского

Безусловно, сближают обе книги их панорамность и многогеройность. Бесконечный ряд эпизодических героев «Острова Сахалина»: каторжный Красивый «на перевозе через Дуйку» [2. Т. 14–15. С. 81], Егор, «дровотаск» доктора, у которого «квартировал» Чехов в Александровске; его рассказ о том, как его обвинили в убийстве, которого он не совершал, Чехов помещает в качестве отдельной (VI) главы [2. Т. 14–15. С. 101–106], полусумасшедший «каторжный Кисляков», поклявшийся убить и убивший свою жену молотком [2. Т. 14–15. С. 115–116], богатый «крестьянин из ссыльных» Потемкин [2. Т. 14–15. С. 117], старик Терехов, убивший, по рассказам арестантов, 60 человек [2. Т. 14–15. С. 132], «отставной квартирмейстер Карп Ерофеич Микрюков, старейший из сахалинских надзирателей» [2. Т. 14–15. С. 162], «жизнерадостная дама» на корабле «Байкал» [2. Т. 14–15. С. 180–181], семья Жакомини в Корсаковском посту [2. Т. 14–15. С. 191], «сахалинская Гретхен» из Мицульки [2. Т. 14–15. С. 202], Вукол Попов из Владимировки, убивший свою жену и отравившийся на каторге из-за другой женщины, фальшивомонетчик Василий Смирнов, гордящийся тем, что «его когда-то на суде защищал г. Плевако» [2. Т. 14–15. С. 206]? – вполне аналогичен многогеройности «Записок...» Достоевского.

Разница, очевидно, в том, что к некоторым своим героям Достоевский возвращается неоднократно, в то время как в «Острове Сахалине» почти все его герои – в соответствии с логикой травелога – являются перед нами лишь однажды, при описании тех населенных пунктов острова, в которых они повстречались Чехову. Соответственно, таких героев у Чехова гораздо больше, чем у Достоевского – зато многие из них обрисованы настолько бегло, что почти не остаются в памяти читателя.

На целом ряде страниц «Острова Сахалина» мы находим разоблачение вреда «системы общих камер» [2. Т. 14–15. С. 92–93, 230], которая существовала в Омском остроге и против которой почти не протестует Достоев-

ский. За отсутствием альтернативы: вольного поселения вне стен тюрьмы, которое широко встречалось на Сахалине, – он просто изображает *«вынужденное общее сожительство»* в остроге на протяжении многих лет как одну из самых существенных и ужасных сторон каторги [17. Т. 4. С. 22].

Иногда Чехов описывает те же самые явления острожной жизни, что и Достоевский, и не давая отсылки к «Запискам из Мертвого дома», упоминает, однако, о том, что они пришли из Сибири: «В общих камерах приходится терпеть и оправдывать такие безобразные явления, как ябедничество, наушничество, самосуд, кулачество. Последнее находит здесь выражение в так называемых *майданах, перешедших сюда из Сибири*¹. Арестант, имеющий и любящий деньги и пришедший из-за них на каторгу, кулак, скопидом и мошенник, берет на откуп у товарищей-каторжных право монопольной торговли в казарме, и если место бойкое и многолюдное, то арендная плата, поступающая в пользу арестантов, может простираться даже до нескольких сотен рублей в год» [2. Т. 14–15. С. 93–94].

В других случаях такого рода отсылок нет, но внимательный читатель «Записок...» легко вспоминает при знакомстве с «Островом Сахалином» описанные на их страницах те же явления. Так, изображение воровства, торговли спиртным и повальной проституции женщин на Сахалине [2. Т. 14–15. С. 326–327 и др.] соответствует отдельным страницам «Записок из Мертвого дома» (ср.: [17. Т. 4. С. 31–32]).

При этом Чехов в общем следует тональности их изображения Достоевским: *«Ссылный развлекается тайно, воровским образом, чтобы добыть стакан водки, который при обыкновенных условиях обходится только в пятак, он должен тайно обратиться к контрабандисту и отдать ему, если нет денег, свой хлеб или что-нибудь из одежды...»* [2. Т. 14–15. С. 326] (ср.: [17. Т. 4. С. 257]).

Тематическая соотнесенность

Противопоставления дворянства народу в книге Чехова нет. Идеализации простого народа, которая имеет место в «Записках...» Достоевского, в «Острове Сахалине» соответствует отношение Чехова к первобытным народам. По отношению к исключительно мирным гилякам, которым *«всякая ложь и хвастовство в обычной, не деловой сфере» «противны»*, такая идеализация, впрочем, имеет свои четкие пределы: «Презрение к женщине, как к низкому существу или вещи, доходит у гиляка до такой степени, что в сфере женского вопроса он не считает предосудительным даже рабство в прямом и грубом смысле этого слова. По свидетельству

¹ Как отмечает М.Л. Семанова, в черновой рукописи вслед за этими словами такая отсылка была: «Чехов, несомненно, использовал не только личные впечатления, но и описания майдана в главе четвертой первой части “Записок из Мертвого дома” Достоевского и сказанное о майдане Максимовым (“Сибирь и каторга”, ч. I. СПб., 1871, стр. 117–128)» [2. Т. 14–15. С. 818–819].

Шренка, гиляки часто привозят с собой аинских женщин в качестве рабынь; очевидно, женщина составляет у них такой же предмет торговли, как табак или даба» [2. Т. 14–15. С. 178].

Коллизии дворянства и народа в «Записках...» в «Острове Сахалине» в какой-то мере соответствует неспособность русской администрации «обрусить сахалинских гиляков», которых начали нанимать «в надзиратели», в результате чего иногда случается, что «гиляк-надзиратель» «по долгу службы» убивает «каторжного»: «Что близость к тюрьме не обрусит, а лишь вконец развратит гиляков, доказывать не нужно. Они далеки еще до того, чтобы понять наши потребности, и едва ли есть какая-нибудь возможность втолковать им, что каторжных ловят, лишают свободы, ранят и иногда убивают не из прихоти, а в интересах правосудия; они видят в этом лишь насилие, проявление зверства, а себя, вероятно, считают наемными убийцами». Разумеется, это совсем другие отношения, однако уровень трагичности этого разрыва и абсолютная невозможность сближения никак не меньше.

«Если уж необходимо обрусить и нельзя обойтись без этого, то, я думаю, при выборе средств для этого, – полагает Чехов, – надо брать в расчет прежде всего не наши, а их потребности. Вышеупомянутый приказ о разрешении принимать инородцев в окружной лазарет, выдача пособий мукой и крупой, как было в 1886 г., когда гиляки терпели почему-то голод, и приказ о том, чтоб у них не отбирали имущества за долг, и прощение самого долга (приказ 204-й 1890 г.) – подобные меры, быть может, скорее приведут к цели, чем выдача блях и револьверов» [2. Т. 14–15. С. 178, 179–180].

Зато по отношению к айно эта идеализация безгранична: «Общий голос таков, что *это народ кроткий, скромный, добродушный, доверчивый, общительный, вежливый, уважающий собственность, на охоте смелый и, по выражению д-ра Rollen'a, спутника Лаперуза, даже интеллигентный. Бескорыстие, откровенность, вера в дружбу и щедрость составляют их обычные качества. Они правдивы и не терпят обманов*» [2. Т. 14–15. С. 221].

В целом же основная коллизия «Записок...» Достоевского: отношения между дворянством и народом – в «Острове Сахалине» практически не представлена. Да и само представление о «народе» у Чехова несколько меняется и приближается к современному: в его «Записных книжках» вскоре оно будет прямо формулироваться: «...все мы народ...» [2. Т. 17. С. 9].

Впрочем, определенный критицизм Чехова по отношению к идеализации простого народа в «Записках...», впоследствии столь ярко отразившийся в его повестях «Мужики» (1890), «В враге» (1899) и обозначенный уже в рассказе «Воры» (1890)¹, сказался и в «Острове Сахалине». Так, в замечании Чехова о том, что «у лучших русских писателей замечалось стремление к идеализации каторжных, бродяг и беглых» [2. Т. 14–15.

¹ Как показал А.В. Кубасов, это изменение в трактовке данной темы впервые в творчестве Чехова произошло именно в этом рассказе и осуществляется в нем как полемическая интерпретация лермонтовской «Тамани» [18. С. 75].

С. 135], безусловно, имеются в виду в том числе и не в последнюю очередь «Записки из Мертвого дома»¹.

Вместо дворянства и народа в «Острове Сахалине» то и дело сопоставляются каторжные и поселенцы, колонизаторы и аборигены. Неоднократно подчеркивается и особенность населения Сахалина по отношению к остальной России: «Пока я плыл по Амуру, у меня было такое чувство, *как будто я не в России*, а где-то в Патагонии или Техасе; не говоря уже об оригинальной, не русской природе, мне все время казалось, что склад нашей русской жизни совершенно чужд коренным амурцам, что Пушкин и Гоголь тут непонятны и потому не нужны, наша история скучна и мы, приезжие из России, кажемся иностранцами» [2. Т. 14–15. С. 42].

В «Записках из Мертвого дома» VI глава второй части озаглавлена «*Каторжные животные*» и в ней рассказывается о лошади, собаках, гусях и козле, живших в остроге. В «Острове Сахалине» ничего подобного нет, но по грустной иронии в одной из первых глав, посвященных «частностям», рассказывается о «*каторжных женщинах*», причем сам автор оговаривается, что «местная практика выработала особенный взгляд на каторжную женщину, существовавший, вероятно, во всех ссыльных колониях: не то она человек, хозяйка, не то существо, стоящее даже ниже домашнего животного» [2. Т. 14–15. С. 246, 250–251].

Предпоследняя глава «Записок...» (IX глава второй части) озаглавлена «*Побег*». Совершенно аналогичным образом в предпоследней (XXII) главе «Острова Сахалина» повествуется об аналогичных материях: «*Беглые на Сахалине. – Причины побегов. – Состав беглых по происхождению, разрядам и проч.*» [2. Т. 14–15. С. 342]. Зато символически венчает «Остров Сахалин» глава, в какой-то степени соответствующая начальным главам второй части «Записок...» «*Госпиталь*» (I–III). Она озаглавлена «*Болезненность и смертность ссыльного населения. – Медицинская организация. – Лазарет в Александровске*» (XXIII по счету), и в ней Чехов буднично рассказывает о том, что фактически население острова остается почти без какой-либо медицинской помощи и лекарств².

Таким образом, сходное, сострадательное изображение Чеховым заключенных и поселенцев сочетается в его книге с полемическим по отношению к Достоевскому отсутствием идеализации преступного мира, а также с иным представлением о «народе». Тему же трагического разрыва

¹ Впрочем, это было свойственно и многим другим предшественникам и современникам Чехова. Как отмечает М.Л. Семанова, комментируя эту фразу, «Чехов имел, надо полагать, в виду книги: “Записки из Мертвого дома” Ф.М. Достоевского, “Сибирь и каторга” С.В. Максимова и рассказы В.Г. Короленко “Соколинец”, “Федор Бесприютный”, “Мгновение” (“Море”) и др.» [2. Т. 14–15. С. 829].

² Некоторые сопоставления «Острова Сахалина» с «Записками...» Достоевского приведены в статье Г.П. Бердникова «Чехов и Достоевский». Однако они носят достаточно абстрактный, поверхностный, а то и произвольный характер. Чего только стоит его предположение о том, что «скорее всего Чехов прямо противопоставлял “Рассказ Егора” главе “Записок...” “Акулькин муж”» [10. С. 120–135].

между дворянством и народом замещает у Чехова тема отношений между русским и коренным населением Сахалина.

Роман Толстого «Воскресение» и «Остров Сахалин»

«Записки из Мертвого дома» заканчиваются «выходом» героя-рассказчика «из каторги», а именно следующими словами: «Да, с богом! Свобода, новая жизнь, *воскресенье из мертвых*... Экая славная минута!» [17. Т. 4. С. 258]. Именно этим словом: «*воскресение*» – Толстой озаглавил свой последний большой роман, причем у него «воскресенье из мертвых» души Катюши Масловой начинается именно тогда, когда она как раз попадает на каторгу.

Так что на первый взгляд Толстой развивает взгляд на каторгу, представленный в «Записках...» Достоевского. И в самом деле, наиболее видному из его героев-революционеров – Новодворову, позиция которого наделяется автором чертами «узости и односторонности», Толстой приписывает отношение к каторжному народу как к «зверям». Крыльцов, к которому автор относится с симпатией, возражает на это: «Ты говоришь – звери. А вот сейчас Нехлюдов рассказывал о таком поступке <...> и он рассказал про то, как Макар рискует жизнью, спасая земляка». В позиции Новодворова и Крыльцов, и затем Марья Павловна не без оснований видят проявление деспотизма: «Мы говорим, что мы против произвола и деспотизма, а разве это не самый ужасный деспотизм? <...> Думаю, что Анатолий прав, что нельзя навязывать народу наши взгляды» [1. Т. 32. С. 398, 399].

Тем не менее Толстой далек от идеализации уголовной среды – пусть даже это люди из народа. У него пребывание в тюрьме действует на всех губительно: «Люди, пожившие в тюрьме, всем существом своим узнавали, что, судя по тому, что происходит над ними, все те нравственные законы уважения и сострадания к человеку, которые проповедываются и церковными и нравственными учителями, в действительности отменены, и что поэтому им не следует держаться их». В романе это показано на примере Тараса, который следует на каторгу за своей женой Федосьей, пытавшейся отравить его, и наделен чертами народной нравственности: «...проведя два месяца на этапах, он поразил Нехлюдова безнравственностью своих суждений» [1. Т. Т.32. С. 377].

Противопоставление дворянства и народа, представленное у Достоевского, Толстой в «Воскресении» подменяет оппозицией «уголовные – политические преступники». И только последних, да и то не всех, наделяет чертами праведности.

В общем изображении каторги Толстой во многом солидарен с Чеховым¹. В отношении к отвратительным сторонам каторги он, как водится, идет дальше всех и, судя по всему, вступает при этом в прямую полемику с Чеховым: «Рассуждение о том, что то, что возмущало его, происходило,

¹ На этой достаточно общей гуманистической позиции Чехова и Толстого акцентирует внимание Е.И. Стрельцова [19. С. 140–149]; о знакомстве Толстого с книгой Чехова в период его работы над «Воскресением» см.: [2. Т. 14–15. С. 794].

как ему говорили служащие, от несовершенства устройства мест заключения и ссылки, и что это все можно поправить, устроив нового фасона тюрьмы, – не удовлетворяло Нехлюдова, потому что он чувствовал, что то, что возмущало его, происходило не от более или менее совершенного устройства заключения. Он читал про усовершенствованные тюрьмы с электрическими звонками, про казни электричеством, рекомендуемые Тардом, и усовершенствованные насилия еще более возмущали его».

Очевидно, полемизируя в данном случае в том числе и с Чеховым, Толстой отрицает само право одних людей наказывать других, даже за преступления: «Узнав ближе тюрьмы и этапы, Нехлюдов увидел, что все те пороки, которые разбиваются между арестантами: пьянство, игра, жестокость и все те страшные преступления, совершаемые острожниками, и самое людоедство – не суть случайности или явления вырождения, преступного типа, уродства, как это на руку правительствам толкуют тупые ученые, а есть неизбежное последствие непонятого заблуждения о том, что люди могут наказывать других. Нехлюдов видел, что людоедство начинается не в тайге, а в министерствах, комитетах и департаментах и заключается только в тайге...» [1. Т. 32. С. 414].

Между тем «путевые заметки» Чехова одушевляет именно стремление сделать наказание преступника не бессмысленно вредным и ужасным, а соразмерным преступлению и способствующим исправлению: «Наказания, которые полагаются каторжникам и поселенцам за преступления, отличаются чрезмерною суровостью, и если наш “Устав о ссыльных” находится в полном несоответствии с духом времени и законов, то это прежде всего заметно в той его части, которая трактует о наказаниях. Наказания, унижающие преступника, ожесточающие его и способствующие огрубению нравов и давно уже признанные вредными для свободного населения, оставлены для поселенцев и каторжных, как будто ссыльное население подвержено меньшей опасности огрубеть, ожесточиться и окончательно потерять человеческое достоинство» [2. Т. 14–15. С. 322].

В отличие от утопической установки Толстого на уничтожение всякого наказания, Чехов занят в своей книге поиском форм его человечности и справедливости: «Реформа 1884 г. показала, что чем многочисленнее в ссыльной колонии администрация, тем лучше. <...> Необходимо, чтобы маловажные дела не отвлекали чиновников от их главных обязанностей. Между тем начальник острова за неимением секретаря или чиновника, который постоянно находился бы при нем, большую часть дня бывает занят составлением приказов и разных бумаг, и эта сложная, кропотливая канцелярщина отнимает у него почти все время, необходимое для посещения тюрем и объезда селений» [2. Т. 14–15. С. 321–322].

Именно поэтому Чехов отстаивает преимущества поселения перед тюрьмой: «Пока несомненно одно, что колония была бы в выигрыше, если бы каждый каторжный, без различия сроков, по прибытии на Сахалин тотчас же приступал бы к постройке избы для себя и для своей семьи и начал бы свою колонизаторскую деятельность возможно раньше, пока он

еще относительно молод и здоров; да и справедливость ничего бы не проиграла от этого, так как, поступая с первого же дня в колонию, преступник самое тяжелое переживал бы до перехода в поселенческое состояние, а не после» [2. Т. 14–15. С. 230].

Поэтому он последовательно выступает против пожизненных наказаний и репрессий как средства борьбы с побегами: «К общим причинам побегов следует отнести также пожизненность наказания. <...> Вообще говоря, репрессивные меры в борьбе с побегами не имеют будущности, они сильно расходятся с идеалами нашего законодательства, которое в наказании видит прежде всего средство к исправлению. <...> Так называемые гуманные меры, всякое улучшение в жизни арестанта, будет ли то лишний кусок хлеба или надежда на лучшее будущее, тоже значительно понижают число побегов» [2. Т. 14–15. С. 345, 355].

Аналогичная убежденность Чехова в чрезмерности отдельных видов наказания одушевляет и его очерк «Из Сибири»: «Я глубоко убежден, что через 50–100 лет на пожизненность наших наказаний будут смотреть с тем же недоумением и чувством неловкости, с каким мы теперь смотрим на равние ноздрей или лишение пальца на левой руке» [2. Т. 14–15. С. 25].

Таким образом, в диалоге со своими великими предшественниками и современниками Чехов и в своих «путевых заметках» сумел сказать о русском народе свое, совершенно новое и неповторимое, слово, и его книга стала в этом отношении существенным звеном на пути его постижения от Тургенева и Достоевского к Льву Толстому.

Литература

1. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений : в 90 т. Серия 1: Произведения. М. : Худ. лит., 1928–1964.
2. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Сочинения : в 18 т. Письма : в 12 т. М. : Наука, 1974–1983.
3. Кибальник С.А. Чехов и русская классика: проблемы интертекста. СПб. : Петрополис, 2015. 313 с.
4. Кибальник С.А. Проблемы интертекстуальной поэтики Достоевского. СПб. : Петрополис, 2013. 431 с.
5. Скабичевский А.М. Каторга пятьдесят лет тому назад и ныне // Русская мысль. 1898. № 10. С. 37–42.
6. Дорошевич В. Чехов и Сахалин // Русское слово. 1905. № 179.
7. Шаламов В. Очерки преступного мира. М. : Эксмо, 2009. 576 с.
8. Созина Е.К. «Жесткий арестантский халат» в «беллетристическом гардеробе» А.П. Чехова: «Остров Сахалин» // Quaestio Rossica. 2016. Vol. 4, № 4. С. 64–83.
9. Сухих И.Н. Проблемы поэтики Чехова. СПб. : Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2007. 490 с.
10. Бердников Г.П. Чехов и Достоевский // Вопросы литературы. 1984. № 2. С. 105–150.
11. Смирнов И.П. Текстотомия: Как литература отзывается на философию. СПб. : Петрополис, 2010. 207 с.
12. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. Л. : Наука, 1972–1990.
13. Герцен А.И. Собрание сочинений : в 30 т. М. : Наука, 1954–1965.
14. Собенников А.С. Миф о Сибири в творчестве А.П. Чехова («Очерки из Сибири») // Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовное измерение пространства. Иркутск, 2004. С. 278–282.

15. Джексон Р.Л. Искусство Достоевского: Бреды и ноктюрны. М. : Радикс, 1998. 287 с.
16. Якубович И.Д. Литературный генезис образов «кротких» и «чистых» в «Записках из Мертвого дома» // Русская литература. 2015. № 1. С. 95–101.
17. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 35 т. Л. : Наука, 2013–2020. Т. 1–9.
18. Кубасов А.В. Художественное предвидение Сахалина: рассказ А.П. Чехова «Воры» // «Остров Сахалин» А.П. Чехова в XXI веке : материалы VII Междунар. науч. конф. Южно-Сахалинск, 2020. С. 69–76.
19. Стрельцова Е.И. «Мнимый остров»: Вечная чеховская тайна («Остров Сахалин» и «Воскресение») // Чехов и Толстой: К 100-летию памяти Л.Н. Толстого : сб. науч. тр. Симферополь, 2011. С. 140–149.

Chekhov's *Sakhalin Island* in the Context of the 19th Century Russian Classical Prose

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 74. 252–267. DOI: 10.17223/19986645/74/14

Sergei A. Kibalnik, Institute of Russian Literature of the Russian Academy of Sciences. E-mail: kibalnik007@mail.ru

Keywords: *Sakhalin Island*, Chekhov, Dostoevsky, Tolstoy, “book about people”, “travel notes”, similarity, difference, polemic character.

The article analyzes Chekhov's *Sakhalin Island* (1893) in the context of the Russian classical prose of the second half of the 19th century as belonging to the supra-genre of “books about people”. *Sakhalin Island* is compared with Turgenev's *Notes of a Hunter* (1852) and Dostoevsky's *Notes from the Dead House* (1863), which preceded Chekhov's story, and with Tolstoy's *Resurrection* (1899), which was written later. The author uses methods of intertextology. The latter is a trend in the development of the theory of intertextuality, which, breaking with the poststructuralist literary-theoretical concepts of the death of the author and intertextuality as interdiscursiveness, interprets it as a dialogue of a writer with his predecessors and contemporaries. The starting point of the work is the idea the author of the article grounded in his previous works that Dostoevsky wrote his *Notes* as a hidden polemic interpretation of Turgenev's *Notes of a Hunter*. The author shows for the first time that, in a similar way, Chekhov, for whom the trip to Sakhalin was a deliberate attempt to acquire a similar human and literary experience, refers directly or indirectly to Turgenev's *Notes of a Hunter*, and especially to Dostoevsky's *Notes from the Dead House* in part of his *Sakhalin Island*. In other cases, his book contains no references to the *Notes*, but internally correlates with them. Moreover, in this latter case, this correlation sometimes has a unison, but mostly dissonant character. That is, Chekhov's “travel notes” are often polemical in relation to Dostoevsky's *Notes*. The author also notes that in *Sakhalin Island* has numerous cases of anticipation of plots and images of Chekhov's subsequent works – a phenomenon that is also widely represented in Dostoevsky's *Notes*. When Tolstoy wrote the Siberian chapters of his novel *Resurrection*, he in turn created it as internally opposed to Chekhov's *Sakhalin Island*. Thus, a detailed intertextological analysis of these four texts reveals a deep interconnection – sometimes evident, but most often hidden in “books about people” written by the greatest Russian writers of the second half of the 19th century. It becomes clear that they were created in an intense creative dialogue, and often in dispute among themselves.

References

1. Tolstoy, L.N. (1928–1964) *Poln. sobr. soch.: v 90 t. Seriya pervaya. Proizvedeniya* [Complete works: in 90 volumes. Series One. Works]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

2. Chekhov, A.P. (1974–1983) *Poln. sobr. soch. i pisem: v 30 t. Sochineniya: v 18 t. Pis'ma: v 12 t.* [Complete works and letters: in 30 volumes. Works: in 18 volumes. Letters: in 12 volumes]. Moscow: Nauka.
3. Kibal'nik, S.A. (2015) *Chekhov i russkaya klassika: problemy interteksta* [Chekhov and Russian classics: problems of intertext]. St. Petersburg: Petropolis.
4. Kibal'nik, S.A. (2013) *Problemy intertekstual'noy poetiki Dostoevskogo* [Problems of Dostoevsky's intertextual poetics]. St. Petersburg: Petropolis.
5. Skabichevskiy, A.M. (1898) Katorga pyat' desyat let tomu nazad i nyne [Katorga fifty years ago and now]. *Russkaya mysl'*. 9. p. 89; 10. pp. 37–42.
6. Doroshevich, V. (1905) Chekhov i Sakhalin [Chekhov and Sakhalin]. *Russkoe slovo*. 179.
7. Shalamov, V. (2009) *Ocherki prestupnogo mira* [Essays on the underworld]. Moscow: Eksmo.
8. Sozina, E.K. (2016) “Zhestkiy arestantskiy khalat” v “belletristicheskom garderobe” A.P. Chekhova: “Ostrov Sakhalin” [“Hard prisoner's robe” in the “fiction wardrobe” of A.P. Chekhov: “Sakhalin Island”]. *Quaestio Rossica*. 4 (4). pp. 64–83.
9. Sukhikh, I.N. (2007) *Problemy poetiki Chekhova* [Problems of Chekhov's Poetics]. St. Petersburg: Faculty of Philology of St. Petersburg State University.
10. Berdnikov, G.P. (1984) Chekhov i Dostoevskiy [Chekhov and Dostoevsky]. *Voprosy literatury*. 2. pp. 105–150.
11. Smirnov, I.P. (2010) *Tekstomakhiya. Kak literatura otzyvaetsya na filosofiyu* [Textomachia. How literature echoes with philosophy]. St. Petersburg: Petropolis.
12. Dostoevskiy, F.M. (1972–1990) *Poln. sobr. soch.: v 30 t.* [Complete works: in 30 vols]. Leningrad: Nauka.
13. Gertsen, A.I. (1954–1965) *Sobr. soch.: v 30 t.* [Collected works: in 30 vols]. Moscow: Nauka.
14. Sobennikov, A.S. (2004) Mif o Sibiri v tvorchestve A.P. Chekhova (“Ocherki iz Sibiri”) [The myth of Siberia in the works of A.P. Chekhov (“Essays from Siberia”)]. In: *Sibir': vzglyad izvne i iznutri. Dukhovnoe izmerenie prostranstva* [Siberia: a view from the outside and from the inside. Spiritual dimension of space]. Irkutsk: [s.n.], pp. 278–282.
15. Jackson, R.L. (1998) *Iskusstvo Dostoevskogo. Bredy i noktyurny* [The Art of Dostoevsky: Deliriums and Nocturnes]. Translated from English. Moscow: Radiks.
16. Yakubovich, I.D. (2015) Literary Genesis of the Images of “The Meek” and “The Chaste” in F. M. Dostoyevsky's *Memoirs from the House of the Dead*. *Russkaya literatura*. 1. pp. 95–101. (In Russian).
17. Dostoevskiy, F.M. (2013–2020) *Poln. sobr. soch.: v 35 t.* [Complete works: in 35 vols]. Vols 1–9. Leningrad: Nauka.
18. Kubasov, A.V. (2020) Khudozhestvennoe predvidenie Sakhalina: rasskaz A.P. Chekhova “Vory” [Artistic foresight of Sakhalin: A.P. Chekhov's story “Thieves”]. “Ostrov Sakhalin” A.P. Chekhova v XXI veke [“Sakhalin Island” by A.P. Chekhov in the 21st century]. Proceedings of the International Conference. Yuzhno-Sakhalinsk: Eykon Yuzhno-Sakhalinsk. pp. 69–76. (In Russian).
19. Strel'tsova, E.I. (2011) “Mnimyy ostrov”: Vechnaya chekhovskaya tajna (“Ostrov Sakhalin” i “Voskresenie”) [“Imaginary Island”: Chekhov's Eternal Secret (“Sakhalin Island” and “Resurrection”)]. In: *Chekhov i Tolstoy: K 100-letiyu pamyati L.N. Tolstogo* [Chekhov and Tolstoy: To the 100th anniversary of the memory of L.N. Tolstoy]. Simferopol: DOLYa. pp. 140–149.